

LINGUO-TRANSFORMATIVE
FUNCTION OF THE GROTESQUE AS
A STIMULUS FOR DEVELOPMENT OF
INTERPERSONAL RELATIONS

D. Hamze, Assistant
Plovdiv University «Paisii Hilendarski», Bulgaria

This study is related to the linguo-transformative function of the grotesque as the regulator of the binomial Semiotic-Symbolic, and through it – of the recreational flux of the a-systemic into the lingual system. The possibilities for socialization of subjects within the renewed communicative environment are studied as well. The following is significant for the transformative continuum: the semiotic transformation within the zone of the grotesque, alienation as a stimulus of the transformative process, sublimation of the object, implications of the Emptiness (the Void), the “anti-cohesive” coherence as a transformation of the lingual systematic, the anti-Form, the grotesque environment and the style as the “transformers”, the grotesque as a transformative code.

Keywords: grotesque, language, sign, system, a-systemacy, transformation, Form, socialisation, communication, code.

Conference participant,
National championship in scientific analytics,
Open European and Asian research analytics championship


ЛИНГВОТРАНСФОРМАТИВНАЯ
ФУНКЦИЯ ГРОТЕСКА КАК СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Хамзе, Д.Г., ассистент
Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Болгария

В работе исследуется языково-трансформативная функция гротеска как регулятор бинома Семiotическое – Символическое, а посредством него - и рекреативного „вторжения” а-системного в языковую систему, а также возможностей для социализации субъектов в обновленном коммуникативном пространстве. Показательными для преобразовательного континуума являются: знаковая трансформация в гротесковой зоне, алиенация как стимул трансформативного процесса, сублимация объекта, импликации Пустоты (Праздности), „антикогезивная” когеренция как трансформация языковой систематики, анти-Форма, гротесковое пространство и стиль как „трансформаторы”, гротеск как трансформативный код.

Ключевые слова: гротеск, язык, знак, система, а-системность, трансформация, Форма, социализация, коммуникация, код.

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 <http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i12.1587>

„Czy ten językowy system, w obrębie którego nasz dyskurs szuka swojej drogi, nie jest czymś, co nieskończenie wykracza poza wszelką intencję, którą moglibyśmy weń wpisać, i która ponadto jest jedynie momentalna¹?”

Жак Лакан

Трансформативная функция языка – его сердцевинная характеристика и, может быть, его самая важная номиналия. Даже богатство языковых функций обусловлено их внутренней котрансформацией – их способностью переходить одна в другую, оставляя впечатление, что данная фраза или данное сообщение выполняет несколько функций одновременно. Комбинаторика как присутствующее языку качество есть производная его имманентной трансформативности, а а-системное „непослушание” словно предусмотрено системой; оно является частью системного характера языка. Язык – система для синхронных и будущих трансформаций. Сама система допускает асистемность, которая становится частью системы языка как одна из ее характерных особенностей. Именно трансформативная и метаморфическая природа языка заставляет нас искать гротесковую матрицу в самом языке, при чем и то на

всех его уровнях. В этой сущностной корреляции нужно искать не только условия для естественной перцепции и концептуализации гротеска, но и ее компенсаторно-креативную роль. То, чего не хватает языку, восполняется гротесковой образностью языковыми, надязыковыми, параязыковыми и эпизыковыми средствами, которые в конечном итоге опять сводятся к языку как необъятному полю возможностей для перевоплощения; „вливаются” в язык и строят его подвижную, многоликую, полифоническую, трансформативную и развивающуюся идентичность. Проникновение в дебри человеческой психики, плетение сети взаимосвязей между ментальными „узлами”, экстраполирование комплексов и вожделиний и их эстетическая гармонизация не только обеспечивают эмоциональный баланс и действуют как благотворное „психотропное вещество”, но на этой базе основе стимулируют социализацию

индивидуумов и их полноценное общение. Поэтому системность нужно понимать не как сумму обязательных и незыблемых правил, а как открытую для перемен перманентную динамику, как системную „а-системность”.

Языковую систему, выходящую за границы интенции, о которой говорит Жак Лакан, можно смело расширять и моделировать – как подсказывает гротеск, – чтобы вместить все возможные интенции и дать им адекватное и достойное выражение.

1.1. Фердинанд де Соссюр в обьективе будущего науки.

Заслуга Фердинанда де Соссюра, может быть, не столь в самом открытии новых и эпохальных для своего времени явлений и отношений в языке (много из вещей, которые мы связываем с его именем, были замечены раньше него другими большими умами, но его вклад заключается в большей степени в четком дефинировании и

¹ „Эта языковая система, в пределах которой наш дискурс ищет свой путь, не является ли чем-то, постоянно выходящим за пределы любой интенции, которую мы могли бы вписать в систему и которая ко всему прочему только моментальна?” [здесь и далее перев. мой – Д. Х.]

систематизировании их идей), сколь в возможности, ссылаясь на это открытие – не опровергая или отвергая, даже напротив, благодаря ему, – прозреть его трансформативную, развивающуюся природу, т.е. даже вне зависимости от нашей позиции относительно него, начертить его перспективную траекторию, уловить отражения, которые оно дает на других явлениях и процессах, и не только в лингвистике. Именно в этом состоит поступательное движение настоящей науки, черпающей и использующей позитивное в каждом очередном этапе в своей истории, сплывая в многоголосый хор все свои направления и течения, в каком „разладе” бы ни выглядели они в концептуальном отношении. Обычно каждое новое направление приходит, чтобы отречь предыдущее, выдавая себя за единственно правильное и основательное, концентрируясь на „недостатках” („несостоятельности”) предыдущего, которые нередко даже заостряет и абсолютизирует (догматизирует) с целью выделить свои преимущества, не давая себе отчет в том, что таким образом замыкается в себе и обрекает себя на мимолетность, так как слишком скоро ему следовало бы ожидать, что оно будет точно так же отречено следующим научным „хитом”. Животворная преемственность в науке – закономерное явление по двум причинам: 1/ ни одно направление не могло бы зародиться, утвердить себя и просуществовать без предыдущей ступени, потому что без нее не родилась бы даже идея о чем-то новом и различном; 2/ как бы ни конфликтовались два направления в борьбе за перевес – за преимущество своих „высших” оснований, оказывается, что они совершенно не исключают друг друга, а лишь дополняют и обогащают друг друга, что связь между ними не контрарная, а комплементарная, всеобразная. Замена или точнее – вытеснение одного направления другим, следовало бы означать не его „забрасывание” в небытие, а унаследование его и надстраивание – спасительные этапы в развитии науки. Размещение нового направления с его новой теорией в „гостиной” науки не означает, что в предыдущем не было и тени подобной концептуальности, а

означает прежде всего различное распределение акцентов.

1.2. Чтобы структурировать свою теорию языка, Ф. де Соссюр тоже опирается на теории и идеи своих великих предшественников и современников, начиная с индийских грамматиков, разрабатывающих учение о знаке, Парменида, Демокрита, некоторых софистов, Платона и Аристотеля, стоиков, Августина, Бекона и Лейбница, проходя через основоположника общего языкознания Вильгельма фон Гумбольта, братьев Грим, Георга фон Габеленца, Яна Бодуэна де Куртене, и кончая Эмилем Дюркгеймом и Вилемом Матезиусом. Леонард Блумфилд еще в 1922 г. очерчивает направление, в котором мы должны искать заслугу Ф. де Соссюра: „Значимость Курса – в четком и строгом выявлении фундаментальных принципов. Большинство из того, что автор говорит, давно витало „в воздухе” и кое-где было фрагментарно выражено, но систематизация – его” [по Бояджию 1992: 25]. Чтобы искать „лигатуры”, т.е. смягчение и когравитацию между членами строго выделенных швейцарским ученым бипартиций (внутренняя лингвистика – внешняя лингвистика, язык – речь, статическая (синхроническая) лингвистика – эволютивная (диахроническая) лингвистика, означаемое – означающее (по отношению к языковому знаку), парадигматика – синтагматика (хотя и, как уточняет Ж. Бояджиев, Соссюр не употребляет термин „парадигматика”, а „ассоциативные отношения”) [Бояджиев 1992: 21] как представительные для системного характера языка категории, эти оппозитивные пары естественно должны наличествовать. Они словно напоминают о реципрочном влиянии и взаимной преемственности между своими составляющими. Существование Соссюровых дихотомий жизненно важно для лингвистической науки, потому что без них не появилось бы намерение релятивизовать или даже оспаривать „излученные” им дихотомии, в поиске путей сближения их коррелятов; нас не осенило бы вдохновение ступить на иной путь...

1.3. Оппозицию *langue – parole* можем понимать скорее всего не как язык – речь, потому что язык прежде

всего речь, а речь – язык, и бинаризм начинает „таять”, а как *язык – слово*, в том смысле, что язык может быть „словом”-статьей (как частью системы), т.е. его номенклатурной регистрацией с абстрагированным набором значений в лексиконе (словарном теле), а „слово” есть уже нескончаемая и непредвидимая смысловая „прыгучесть” лексической единицы (ее подлинная бытийность) во всевозможных ее семантических гипостазах, именно как „живой поликодовый” и „мультимодальный гипертекст”, в соответствии с терминологией и определением русского исследователя Александры Залевской [Залевская 2012].

Когда язык запустит свои основные функции (о которых гротеск в своей бдительности непрестанно ему напоминает) – экспрессивную и миметическую, а их динамо – это трансформация, слово чахнет. Мариан Белеcki пишет о герое-нарраторе романа *Ferdydurke* Витольда Гомбровича следующее: „Как замечает даже сам протагонист – перо ему изменяет. И то в самом буквальном смысле, потому что речь идет не о каком-то чисто писательском недомогании. Изменяет ему сам язык, который перестал выполнять свои основные функции: экспрессивную и миметическую” [Bielecki 2014: 95]. С помощью этих функций индивидуум в состоянии хоть в какой-то мере преодолеть главную и сущую оппозицию экзистенциально-антропологического характера: *формальная связь-зависимость* (в первую очередь структурно-языковое давление) – *первичная привязанность* (инстинктивная гравитация в сторону нерасчленимого, целостного и „хаотичного” образа Матери), благодаря трансформативному потенциалу гротескового изображения. У польского писателя „неисправимое” ощущение „потусторонности” этого „первичного инстинкта”: „Вы не скажете, что человек проявляет себя посредством известных, независимых от него структур, какими являются структуры языка, что он ограничен чем-то, что пронизывает его сплошь и вместе с тем определяет его; что его *vis movens* находится где-то вне его?” [PWT II, 321–322].

2.1. Знаковая трансформация в гротесковой зоне.

Здесь я попробую посмотреть с другого угла на стандартную модель *Signifiant – Signifié*, ставшую знаковой в языковедении, и выделить круговую трипартицию *Семиотическое – Символическое – Семиотическое* как диалектику знаковости, зародившейся и протекающей в гротесковом пространстве. Для этой цели необходимо вернуться к нашим экзистенциальным корням и поискать первопричину нашей знаковой идентичности, ссылаясь на ценные наблюдения Жака Лакана и Юлии Крыстевой, достойно представленных в монографии М. Белецкого *Widma Nowoczesności (Przyspoki Co-временности)*.

2.2. Символично (Символьно) все, что связано с нашей „культурной” („культивированной”) жизнью в социуме. Оно как сфера нашего неизбежного бытия, потому что наше существование, функционирование и продвижение отмечены Символом; так обстоит дело и с нашей экзистенциальной травмой, из-за нашего удаления от своего естества, от нас самих. Оно и есть высокая цена компромисса, без которого так или иначе существование было бы невозможным. Символ (Означающее) оказывается жизненно важным для субъекта, но и слишком болезненным (травматическим) – обрекает его на пожизненную зависимость от формальной тирании Другого. Субъект обречен на алиенацию (протосимвол) и дискурс (мегасимвол), на бесконечные проблемы с Означающим, что делает невозможными автоэкспрессию и самопознание как исцеление. Лакан говорит: „Буква убивает, но мы знаем это благодаря самой букве” [по Bielecki 2014: 38]. Означающее кризисно и критично для сознательного индивидуума, так как оно становится причиной того, чтобы появился субъект сигнификации, сводя его к самому Означающему. Таким

образом одно Означающее направляется к другому Означающему, петрифицируя его в самом движении. Человек тоже оказывается каким-то Означающим первичного Означаемого, т.е. является транслятором знаковости. Это Означающее играет роль Означаемого для другого Означающего, следовательно оно есть Означающее Означающего и наряду с этим Означающее и Означаемое. Бифункциональность, однако, никак не удовлетворяет его, а делает его положение в мире еще более тяжелым и сложным. Она открывает ему мучительную истину, что язык может быть тираническим, поработавшим, антигуманным, антисущностным, антиэссенциальным, противоестественным, деперсонализирующим, убийственным... Причем именно благодаря „ультимативности”, принуждению, насилию Символа, Форме как Символу. Борьба против статус-кво не может не принять определенную форму, но она есть Анти-форма, потому что взрывает стандарт. Гротеск проводит эту трансформацию Формы в Анти-форму и опять в эстетическую Форму высшего порядка, и таким образом обеспечивает реверсивное преобразование (двойную ретрансформацию) Символического в Семиотическое, а его – в новое гибридное Символическое.

Альбертинка из пьесы *Оперетка* – сама Анти-форма, словно аллегория Семиотического, „причялившего” к территории Символического. Своим человеческим „коллагно-провокативным” присутствием она доказывает, что не только не лишняя в строго расчерченном, формализованном до судорог мире, но как Посланец от Потустороннего мира, явившийся, чтобы напомнить о Начале, об Источнике и Целости. Ситуативный оксиморон, сотканный из повторений (двойная редупликация), междометий, эллипсисов, констатива и экспрессивов, строит мизансцену коммуникативной

ко-гравитации между Семиотическим и Символическим.

Albertynka i Złodziejaszki
Ach, Albertynka, to cud dziewczynka,
z grobu powstaje, wiecześnie młoda, na
trumnie tańczy, bawić się chce
I o miłości
I o miłości
I o nagości
I o nagości
Bez przerwy śni, ach śni?... [O, 320]

2.3. Благодаря своей трансформативной функции гротеск возвращает к Семиотическому и вторично его *символизирует* – чтобы припомнить и альтернативировать его (выделить его как альтернативу). Сам гротеск так похож на Семиотическое с его основной характеристикой как знак Первичного, гетерогенного, нерасчлененного и неразгадаемого, невыразимого и необъяснимого! Гротеск совершает очередное чудо – помирляет и гармонизирует принципиально (и исконно) непримиримые Символическое и Семиотическое, трансформируя Символическое в Семиотическое, а его – снова в Символическое, но в более высокой степени – именно как Символика Семиотического. Так укрощает боль от существования, из-за вечной неудовлетворенности субъекта с его неутолимыми желаниями, с превосходящими (перекрывающими) его страстями. Неизбежная экзистенциальная зависимость индивидуума от Другого становится менее травматической, благодаря альтернативе, которую предлагает гротесковое изображение со всем своим трансформативным потенциалом. Вечная невозможность самоосуществления субъекта, о котором пишет М. Белецкий, превращается в возможность (становится компенсируемой) посредством философско-эстетической функции гротеска, которая, со своей стороны, – производная трансформативной функции, т.е. пред-

2 Альбертинка и Злодейки

Ах, Альбертинка, девка паинька, из могилы всплыла, вечно молода, на гробу танцует, развлекаться мечтает

И, о, моя любовь

И, о, моя любовь

И, о, моя нагота

И, о, моя нагота

Бесконечно снится ей, ах, снится ей... [O, 320]

ставляет функцию функции: „То, что было сплошной первичностью, возможно наиболее примарной потребностью и наряду с этим наиболее совершенным проявлением себя, вдруг становится желанием, выражаемым в языке Другого, т.е. несобственным, неусвоенным, предлагающем только жалкие заместители безвозвратно потерянного и осуждающего субъект на вечную жажду и вечную неудовлетворенность” [Bielecki 2014: 40]. Трансформативная природа гротеска толкает этот „чужой”, „неравностойный”, неполный и несовершенный язык на путь совершенства.

По мнению Ю. Крыстевой, именно здесь, на первичном уровне, в приговоренной к забвению связи с Матерью, проявляется первая интеракция межчеловеческого характера, первая коммуникация и первый язык. Составляющие определенный опыт и экспрессию ощущения -телесный контакт, чувство тепла, питание, вокальные и мышечные судороги, дрожание голосовой и моторной систем: все это есть основа Семиотического. Артикулированный специальным образом голос фрустраций и криков о помощи, это протоязык, который подготавливает место для подлинного языка, того из Символического порядка. Следовательно, Семиотическое связано с первичными, непосредственными и не воображаемыми, а самыми реальными отношениями с Матерью, которая воплощает упомянутый протоязык: рифмы, интонации, эхололии телесной унии [по Bielecki 2014: 47]. Благодаря гротеску эти „подземные богатства” не погибают, а „воскресают” как драгоценное сырье для духовно-эстетического переноса.

По мнению Лакана, Символ проявляется в первую очередь как уничтожение предмета (польск. *rzecz*), а смерть его означает для субъекта увековечение его сильного желания [по Bielecki 2014: 40]. Нечто, предмет, как мы могли бы назвать Лакановую жизнеопределяющую первичность, пульсирует в парадигмах (конфигурациях) предметности в *Космосе*. Предметы в

романе (под предметами понимаем и „о-предмеченные” живые существа в гротесковой панораме), кроме того, что однажды уже трансформированы гротеском как символы Семиотического, превращаются еще и в объект авто- и ко-трансформации, обмениваясь и чередуя перманентно Символическое с Семиотическим. Гротеск не только сочетает Семиотическое и Символическое, но трансформирует одно в другое силой своей эстетической экспрессивности. Сам он становится знаком (символом) Семиотического, а Семиотическое – знаком потребности в Символике. Таким образом Символика становится приемлемой и безболезненной для субъекта, и ее уже нельзя преодолевать, потому что она ко-эксирует успешно с Семиотическим.

Сюрреалистическая спайка выравненных посредством сплошного дейксиса (словно пересекающего синтаксические связи) фрагментов действительности, которые в гротесковой картине не только преобразуются в символ Семиотического, но иллюстрируют единение и единодействие предметности как „части” Вселенной (выраженные всевозможными языковыми средствами), превращаемые Космическим императивом в Целость, – отражает реальное (адекватное) психическое состояние субъекта в мнимой реальности его утилитарного бытия. Эта спайка подсказывает утешительную возможность периодического перехода от Символического в Семиотическое и наоборот, притом в самых разнообразных комбинациях. „Неповторимая” повторяемость действия „реставрирует” пуповину, соединяющую наше тело с Абсолютом.

Uciszył się zupełnie i nic nie było słycać, ja myślałem wróbel Lena patyk Lena kot w usta miód wargą wywichnąć ściana gródka rysa palec Ludwik krzaki wisi wiszą usta Lena sam tam czajnik kot patyk płot droga Ludwik książd mur kot patyk wróbel kot Ludwik wisi patyk wisi wróbel wisi Ludwik kot powieszę – – – Lunęło. (...) Dziś na obiad była potrawka z kury³ [K, 148].

2.4. Семиотическое связано с автозротической, пред-эдипальной телесностью. Поэтому оно асимболическое и его нельзя приравнивать к Фрейдовой травме или Лакановому Реальному. У Ю. Крыстевой Семиотическое существует вне всякой репрезентации и раньше какого бы то ни было дискурса. У него свои законы и правила. Пристрастие В. Гомбровича к Семиотическому замечает и французская структуралистка в своем комментарии (переданном М. Белецким) о целом его творчестве и в частности о романе *Порнография*: „Ничто, а означает” (...) – вот формула Крыстевой, определяющая невыразимую тему *Порнографии*. Зато, наиболее общеговоря, писательское дело Гомбровича, включая, конечно, *Космос* и *Дневник*, не что иное как усилие нащупывания и оборачивания в язык ускользающего опыта, усилие названия предъязыкового и невыразимого, штрихования непрочных и неустойчивых значений на грани слова и желания [...]” [по Bielecki 2014: 49]. Это усилие щедро вознаграждено гротеском и его трансформативной стихией.

Семиотическая сигнификация, как отмечает М. Белецки, предшествует эволюционный этап субъективности. Архаический опыт не позволяет быть забытым, и его вытеснение в подсознательное никогда не бывает окончательным. Когда появляется Символическое, Семиотическое не исчезает полностью и при определенных обстоятельствах напоминает о себе. Тогда Семиотическое, как специфическое сочетание инстинктивного и дискурсивного, активизируется в дискурсе, заставляя его „обволакиваться” и лавировать. Следовательно, эта оппозиция не является абсолютной, и ее члены находятся в особой взаимозависимости [по Bielecki 2014: 49–50]. Оказывается, что Семиотическое и Символическое в языковом дискурсе функционируют на оксиморонном принципе – основополагающем и эссенциальном для гротесковости: „(...) как пишет Крыстева в *Черном солнце* – „неосознаваемое” не структурировано

3 Стихило совсем, и ничего те было слышно, я думал о воробье Лена о палке Лена о кошке во рту мед губу покривить клубень стена царапина палец Людвиг кусты висит висит рот Лена туда-сюда чайник кошка палка забор дорога Людвиг священник стена кошка палка воробей кошка Людвиг висит палка висит воробей висит Людвиг кошку повешу – – – Пошел дождь [...] Сегодня на обед была яхния из курицы [K, 148].

как язык, а как все следы Другого, вместе и прежде всего с наиболее примитивными, „семиотическими” знаками, возникшими путем предсловесного самовозбуждения, „припоминаемого” нарцисстическим или любовным опытом (...). Инстинктивное, рефлекторное, физическое влечение оперирует на уровне материального, которое логически и темпорально предшествует символическому порядку, но уже так или иначе отмечено некоторым штрихом социализации путем испытания другости. Семиотические инстинкты имеют даже свою поэтику, использующую главным образом просодические возможности языка (...). Эти инстинкты находят свою отдушину в его материальности: в тонах, музыке, интонациях, ритмах, аллитерациях, отвечающих флуктуационным движениям процессов, стабилизирующих значение до грани нонсенса или выражения Материнского Предмета. Это, однако, не репрезентация, а всплеск, освобождение, извержение и деструкция языка с помощью инстинктов, нарушение гладкой поверхности его структуры и смысла. Это Семиотическое существование на грани языка, на грани говоримости и интеллигибельности. Появление семиотического взбудораживает язык, травмирует субъект и сметает символический порядок – Семиотическое – это. революционная потенция (...)” [Bielecki 2014: 49–50].

В семиотическом ареале Гомбрович выделяет трансформативную функцию гротескового языка, который возвращает язык к его источнику, „рассказывает ему” его предысторию, чтобы сделать его более гуманным, более социативным и сплывающим в своей коммуникативности. Гротесковая диссекция языка – неизбежный этап в его реанимировании и в актуализации его архетипной витальности. Гротеск является проявителем (лакмусом) для жизненности семиотических импульсов, как в психическом космосе индивидуума, так и в его языке.

3.1. Алиенация как катализатор трансформативного процесса в гротесковом изображении.

Устремленность к достижению самого себя оказывается отчуждением (алиенацией) от себя, и когда постепенно в той или иной степени его начинают осознавать, оно словно удаляется, потому что ощущается как безвозвратный отрыв (вырывание) от Первичной Целостности, которая первоначально показалась нам лишней или ненужной перед лицом мечтанной, социализирующей, ассоциирующей и обеспечивающей Формальную идентичность Другости, а потом мы почувствовали себя „обманутыми” императивами Другости, которые все время формируют нас и все больше и больше отдалают от нашей сущности, от нашего исконного Единения, без которого мы на самом деле не можем существовать. „Эвристическое” открытие телесной целостности в „зеркальной фазе” (термин Лакана) развития ребенка, которая протаргет ему дорогу к самореализации в обществе, без которой его жизнь была бы невозможной, оказывается „зрительным обманом, поскольку собранные воедино „разбросанные” части неосознанного еще как единство тела, участвуют обязательно в коммуникативном маскобмене, который разбудит ностальгию по первичной расчлененности как знак Совершенного Единства (опять оксиморон). В этой своей телесной „целостности”, которая на самом деле ему чужда, и иллюзорной самодостаточности субъект оказывается обреченным на вечную частичность, потому что никогда не может быть собой под давлением Другого, который всегда различен, но в то же время и всегда „одинаково” Формален. Славой Жижек почти чувственно выражает этот процесс: „сразу после того как субъект будет пойман в радикально наружной сети означающих, он уже мертв, расчленен, разорван на куски. (...) символическая репрезентация всегда обезображивает субъект (...)

она всегда является неким его отклонением, некой ошибкой... (...) субъект не может найти то значащее, которое могло бы быть „его собственным” (...) всегда говорит слишком много или слишком мало: вкратце, всегда говорит что-то *другое*, а не то, что хотел сказать [по Bielecki 2014: 97].

Гротесковая образность в Гомбровичевом творчестве визуализирует языковыми средствами именно эту трансформацию (и рефункционализацию) частей в философском и, в конечном итоге, космическом созвучии. Так, в этой их „расчлененности” они становятся жизненно важными элементами космической целокупности, частью которой является и сам субъект. Так следовало бы понимать „зловеще” эстетическую метафору отпадения отдельных частей с тел партнерш обоих виртуозов анализа и синтеза в философских эссе в романе *Фердидурке* – Филидора и Филиберта. В этой дуэли чести даже стрельба (представленная ситуативно-психологическим оксимороном) „освещена” с помощью расположенных в восходящей смысловой градации прилагательных, компаративных единиц и тавтологичного сравнения, переподтверждающего „сакрализацию”, как дерзкое вхождение (скорее возвращение) Сакрального, которое расчленяет и сметает утилитарную символику. Его приветствуют с восторгом даже сами „жертвы”, которые превращаются в его вторичные символы.

Palba trwała nieustająca, zażarta, gwałtowna i świetna jak świetność sama, a palce, uszy, nosy, zęby odpadały jak liście z drzewa miotanego wichrem, my zaś, sekundanci, zaledwie mogliśmy nadążyć okrzykiem, która z nas wyrwała błyskawiczna celność. (...)

Obie panie były już ogołoczone ze wszystkich odnóg i występów, nie padały trupem po prostu dlatego, że nie mogły nadążyć, a zresztą myślę, że miały też w tym swoją rozkosz – wystawiając się na taką celność⁴. [F, 107].

4 Стрельба продолжалась бесперерывная, ожесточенная, яростная и прекрасная как само прекрасное, а пальцы, уши, носы, зубы срывались как листья с дерева, раскачиваемого вихрем, зато мы же, секунданты, едва успевали догонять возгласы, которые вырывала из наших уст молниеносная точность. (...)

Две дамы были уже освобождены от всех отростков и побегов, но не падали на землю, просто потому что им не удавалось поспевать, а в сущности я думаю, что от этого они испытывали наслаждение – подвергаясь такой точной стрельбе [F, 107].

4.1. Гротеск как сублимация (метафорическая трансформация) абъекта.

Ю. Крыстева определяет так термин абъектальность (польск. *abiektałność*): „Экстремально сильное чувство, являющееся одновременно соматическим и символическим, и прежде всего – бунтом субъекта против внешней опасности, от которой он хочет дистанцироваться, но которая вместе с тем создает впечатление, что является чем-то больше внешней угрозы и что может угрожать и изнутри. Это означает желание о сепарации, об автономичности и наряду с этим выдает чувство невозможности того, чтоб желание было выполнено” (по Bielecki 2014: 56).

Абъект не субъект, и не предмет, он скорее „гнездо”, праобъект, раньше „зеркальной фазы”, раньше Воображаемого и Символического Другого. Он есть „объект”, потерянный в результате усилий, направленных на отделение от пре-Едипальной Матери, в результате первой попытки создать некое воображаемое Я путем его обособления от не-Я [по Bielecki 2014: 56].

Ю. Крыстева описывает реакцию к сливкам в молоке, поданном родителями их ребенку, чтобы связать его с метаморфозами абъектального, которое точнее всего выражает драму индивидуума: „Головокружение затуманивает мое зрение, меня начинает тошнить от сгущенной пленки на поверхности молока, она отделяет меня от матери, от отца, которые настаивают на том, чтобы я его взял. Этот элемент, „знак” их желания, „я” его не хочу, „я” ничего о нем знать не хочет, „я” его не принимает, „я” его отвергаю. Но раз эта пища не „другая” для „меня”, раз я существую единственно в их желании, отвергаю себя, выплевываю себя, чувствую отвращение к себе – причем в том же движении, в котором „я” утверждаю, что конструируюсь” [по Bielecki 2014: 56]. (опять оксиморон). Это одновременно ключевой

и исключительно двузначный момент, на что обращает специальное внимание М. Белецки. Отвержение всего нечистого и неправильного в телесном битии делает возможным очерчивание границ асептического поля с его чистотой и правильностью, и в первую очередь позволяет провести границы самого себя. Таким образом добиваются установления Я, но кошмарной ценой отвержения своих самых близких людей, матери, отца, а даже и самого себя, ценой отрыва от колыбели, от „источника” без дна, представляющего собой отталкивание, названное первичным... Таким, слишком вычурным образом рождается любая моральность, если, конечно, мы связываем ее с уважением к другому, так как ее условием является отвращение к собственной матери. Более конкретные имена, которые Ю. Крыстева дает абъекту в *Силе отворачивания*, это: питание, нечистоты, экскременты, физиологические отходы, ненормальная или нездоровая телесность, а также проступок, вероломство, нелояльность [по Bielecki 2014: 57]. Не выходит ли, что сама моральность неморальна, что мораль прорастает на аморальной почве? Сама она аморальна?

Польский литературовед акцентирует на *перформативном* характере абъектального (перформативность тоже есть трансформация одного состояния в другое), поскольку оно нарушает границы, срывает порядок, размешивает отношения между идентичностью и дружескостью, а в то же время является самым нарушением, уничтожением и спутыванием идентичного и различного. Вот почему представляет угрозу для Символического порядка как структуры дележа и различий [по Bielecki 2014: 58].

Трансформативно-перформативная сила гротеска выражается не в стирании абъекта или в его нейтрализации, а как раз в осуществлении посредством него победоносного возвращения к Семиотическому и

экстериоризации трагедии индивидуума, которая сублимирует, благодаря эстетике. Гротесковая образность с легкостью связывает такие крайние вещи путем релятивизации границ и визуально-эстетической „трансформации” абъекта, „приходящего извне и разрывающего изнутри” (по словам Ю. Крыстевой).

В драме *Оперетка* Профессор с его vomитальными (франц. *vomir - рвать, извергать*; связанный со рвотой) вспышками – это Медиум, обращенный к Космическому, прямая связь с Первичной Целостностью. Автор словно „фильмирует” экстремальную трансмутацию Символического снова в Семиотическое, принимая языковое наступление средствами компрессированного, „телеграфного” синтаксиса, придающего особую действенность гротесковому изображению посредством эллипсисов, безличных, безглагольных и бесподлежащих фраз, с помощью пространственных ориентиров, космизирующей метафоры, повторения, междометий, эскалации прилагательных.

Profesor

A ja rzy...ja Rzy... na prawo. Rzy... na lewo. Rzygam i rzygam. Rzyg. Mdl. Nudzi. Wymiot. Rzyg. Rzyg. Wszereż i wzduż. W głęb i w skos. Rzyg. Rzyg. Co za nudzenie, jak nudzi, jak mdl, zrzucam, wymiotuję, wymiot absolutny, radykalny, uniwersalny, kosmiczny, fizyczny, metafizyczny, wszechwładny, wszechobjmujący, wymiot, wymiot, wymiot, wymio⁵! [O, 282–283]

4.1. Трансформативная функция гротеска как гарант доступа к Реальности посредством Пустоты (Праздности)

В будистской философии вещи не имеют прочных и зафиксированных характеристик, потому что непрерывно меняются. Это означает, что они лишены характера, т.е. они - несуществующие (что не означает, что они не присутствуют), следовательно являются *пустотой*⁶. Она, однако,

5 Профессор

А меня рве... меня Рве... направо. Рве... налево. Рвет и рвет. Рвота. Тошнота. Скука. Рвота. Рвота. Вдоль и поперек. Внутрь и косо. Рвота. Рвота. Что за хандра, какая скука, какая гадость, извергаюсь, меня рвет, рвота абсолютная, радикальная, универсальная, космическая, физическая, метафизическая, всемогущая, вездесущая, рвота, рвота, рвота, рвота! [O, 282–283]

6 По вопросу о пустоте как одном из воплощений Сумерек с их семантической бездной см. работу „Zapada zmierzch...” – kognitywno-konotatywne implikacje pojęcia w twórczości W. Gombrowicza [Hamze 2014a].

очень плодотворная и ассоциируется со Средним путем как отсутствие позиции, как равновесие и покой, Она есть Нирвана – настоящая живая Реальность. Образ пустоты в гротесковом изображении встречается часто в творчестве польского писателя как периодическое „отключение” от униформенного мира „тиранического” порядка, как „предохранительный клапан”, восстановление „пуповины”, оазис и медиум, обращенный к исконной Реальности, как реверсивная телепортация в Материнскую „обитель”. Для Ю. Крыстевой субъект тоже основан на пустоте, отсутствии или негативности. Потому что отсутствие обязательно, чтобы могла всплыть какая-то позитивность, какая-то культурная Форма, создаваемая в процессе неумолимого семиозиса. Это отсутствие, однако, имеет в некоторой степени онтологический статус, не есть абсолютное небытие, а словно выше него, и при этом его описывают с помощью пространственной метафоры, что означает, что оно может быть восполнимо [по Bielecki 2014: 45]. Именно гротесковая антропология и лингвология восполняет его – смыслом и перспективой... В ней сочетаются извечное Материнское всеединство, философское спокойствие, благодать, одновременно как контрапункт жизненного стандарта и мост к Первичной Целости. Прав М. Белецки, который говорит, что для Ю. Крыстевой пустота (праздность) не совсем пуста, потому что в ней есть „что-то”, предшествующее „зеркальной фазе” [Bielecki 2014: 45].

Когда сверхформализованное Символическое начинает становиться нестерпимым, тогда само оно начинает „переваливать” в свою противоположность – Семиотическое, как устремление к Пустоте. Символическое начинает разлагаться, абстрагируясь посредством своих действенных номиналий (девербатов) – как преддверие Абсолютной Целости, – приобретающих стран-

ность, таинственность. Референная формула: *Ja na kolana padłem*, чаще всего употребляемая в Транс-Атлантике, но встречаемая и в других произведениях писателя, здесь не столь ироническая реакция на высочайшую особу Посланца и его смехотворную клоунату, сколь намерение (выраженное риторическим вопросом) оказать почтение Анти-формальному, изначальной „Пустоте”. Особа Посланца отходит на второй план, чтобы предоставить преимущество его деперсонализированным действиям – эмблемам Семиотического, перед которыми преклоняется нарратор. Ситуативно-поведенческий оксиморон с помощью негации, повторения и компаративных маркеров сгущает гротесковую картину.

Dopieroż myślę: a po cóż ja tak myślę, że on (Posel) krzyczy, siada, lub powstaje, odkądże to mnie krzyk jego, siadanie, wstawanie dziwnymi się stały? A i bardzo Dziwne; do tego zaś Puste jakieś, jak pusta butelka, lub Bania. Patrę się, przyglądam i widzę, że w nim wszystko bardzo Puste, aż mnie lęk zdiął i myślę sobie, a co to tak Pusto, może lepiej ja na kolana padnę?... [TA, 74-75]

5.1. „Антикогезивная” когеренция⁸ как трансформация языковой систематики.

Когезия – это стандартная, знаково эксплицированная связь между языковыми единицами, получающая свой „аттестат” от грамматического устройства языка. Понятия, связанные преимущественно с синтаксисом, как аккомодация, колокабельность и пр., являются индексами категории. В своем качестве синтагматической, пропозициональной и референциальной данности, она предопределяет и осуществляет канонические языковые связи, служащие ядерными ориентирами в мысленно-грамматическом пространстве производителя речи.

Симптоматика текста, однако, обусловлена преимущественно когеренцией. Она представляет ту деликатную и неуловимую внутреннюю

смысловую согласованность элементов в текстуальном пространстве, которая увлекает их в синхронный ритм, чаще всего в противовес правилам когезивной сочетаемости. Когезия и когеренция, конечно, не исключают друг друга, а друг друга дополняют и „общими усилиями” способствуют семантично-синтаксической консолидации текста, но за смыслово-эстетическую (что касается художественной литературы) значимость данного текста всю ответственность несет когеренция, и то преимущественно за счет когезии.

Когезия закладывает коммуникативную базу для межличностного взаимодействия, а когеренция намечает (проектирует) смысловую перспективу текста, открывающую новые коммуникативные горизонты. Как динамичная и трансформативная сеть взаимосвязей, когеренция может даже „аннулировать” когезию в ее классическом виде, не раскачивая устои текста и не эрозируя его структуру, по той простой причине, что она является ее „продуктом”.

5.2. Гротеск как чудотворное сочетание несочетаемых на вид, даже диаметрально противоположных по характеру бытийностей, в которые „вдохнули” компатибельность на основе одного знаменательного открытия – их взаимного духовно-эстетического и смыслового аффинитета, является образцом когеренции. Даже классическое представление о когеренции в физике (которая „благосклонно” уступает термин и другим наукам), как согласованном наслаивании колебаний волн, словно относится в полной степени и к гротеску. Гротесковая картина – это идеальное соответствие физическому термину „интерференция картина”.

Отсутствие когезии в традиционном семантическом и языковом отношении компенсируется внутренним сцеплением (как синоним „когеренции”) „гиперболического гротескового тела” [по М. Бахтину 1978] как субститутом Вселенной с ее эмблематическими сим-

7 Лишь сейчас думаю: почему же я так Думаю, что он (Посланец) кричит, садится, или же встает, как же так крик его, усаживание его, вставание чудноватыми мне показались? Даже очень Чудноватыми; да и какими-то Пустыми, как пустая бутылка, или как Пузырь. Смотрю, всматриваюсь и вижу, что в нем все очень Пусто, аж до того, что меня бросает в дрожь и начинаю думать, да уж если так Пусто, может, лучше ж будет на колени упасть?... [TA, 74-75]

8 Более подробно по теме посм. статью Гротеската като „антикогезивна” когеренция (вверху материал от творчества на Витолд Гомбрович) [Хамзе 2016] (в печати).

биоами противоположных сущностей, состояний и явлений. Эта „когезия” посткорреферентная, т.е. вторично приобретенная, благодаря кореферентной сети в торжествующем гротесковом теле, которое надиндивидуальное, космическое. Оно является динамичной субстанцией, размывающей границы между вещами, переворачивающей иерархии, водворяющей свободу, вводящей „положительное отрицание” и обес-Формляющей клишированные Формы. Именно кореферентная внутренняя взаимосвязанность элементов в зоне гротеска делает из нее концепцию о мире и ценностную систему. Она провоцирует и ее оценочную функцию, которая превращает кажущиеся зрительно-зрелищные диссонансы в рефлексивные ассонансы, составляющие внутренне гармоничную и стройную философско-эстетическую платформу, символом которой может послужить оксимороническая аббревиатура крупного барокового теоретика поэзии Мачея Кажимежа Сарбевского – „согласованная несогласованность” (*discordia concors*). В пользу гротесковой когеренции говорит и Михал Гловински, который тоже использует оксиморон, подчеркивая, что эти диссонансы не только функционализированы, но и гармонизированы [Głowiński 2000: 8]. Эта радикальная трансформативность когерентной природы и структуры гротеска приводит к переоценке стандартов – и языка, и коммуникации как выражения межчеловеческих отношений, и самой оценки.

Сила когерентных связей в гротесковой зоне превращает категорию в феномен самодостаточности (*trwanie w sobie samym*). Не случайно она отличается автономностью и относительной независимостью от контекста. С этой спецификой связаны и ее катартическая, трансцендирующая и магическая функции – решающие для коммуникативной „когезии” между субъектами. И вот на гротесковой территории когеренция как трансгрессия когезии в виде стандарта ведет к новой, на этот раз спасительно-коммуникативной, „когезии”, достигнутой с просветленным сознанием, что традиционное представление о значении

„не имеет значения”. Снимая иерархии и ставя в один ряд гротесковые бытийности посредством изображения вечной „нарицательности” всего одушевленного и неодушевленного, когеренция одновременно пере-семантизирует, ко-семантизирует и транс-семантизирует бытийности, предоставляя им „равные права” общения как между ними, така и с реципиентами, а также между самими реципиентами как потенциальными гротесковыми „персонажами”. Когерентное сожителство всевозможных разнородных элементов, строящих контрафактический мир (который на самом деле оказывается более реальным, чем реальный), доказывает его право на существование рядом с традиционным миром, пронизанным иронией познания о мнимой пригодности бытия.

5.3. Гротесковая когеренция – коммуникабельна. Язык социализует, но в конечном итоге изолирует – расширяет устои уверенности в собственной идентичности, оспаривает даже первичное открытие самого себя как субъекта, как „конкурентоспособной” целостности, депрессирует, в то время как гротеск или гротесковый язык (посредством когеренции) индивидуализует, чтобы объединить, реанимирует, чтобы восстановить и в конечном итоге ресоциализует. Таким образом добивается вторичной когезии – предметов как универсальных бытийностей. Часть в гротеске – магическая „целость”, а гротесковая сущность – кореферентная структура таких частей-целостей, консолидирующихся в (и составляющих) глобальной целостности гротесковой панорамы. Видимо, гротеск ступает на обратный путь – декомпозирует на части достигнутую телесную целостность, заставляет целостности превратиться снова в части, чтобы выявить их уникальность, а также интегритет, и вдохнуть в них космическую „исключительность”, которая в их гармонической оркестровке снова делает их целостью. В гротесковой зоне индивидуум проходит обратный коммуникативный путь – не от частей к целостности (которая обеспечивает ему коммуникабельность в утилитар-

ном мире), а от целостности к частям (ансамблю из „целостных” частей), одаренным новой целостностью, которые не делают его а-коммуникативным, а более коммуникативным, благодаря когерентной модели. Гротесковая когеренция освобождает субъект от восприятия Другого как кумира (или воплощенного императива для субординации), которому он должен подражать, и дает ему возможность воспринимать как равноценного, со-поставимого и соизмеримого партнера. Эта элитарная – в смысле космоизирующей и трансцендирующей, эгалитарность – в смысле равноценности бытийностей, как функция когеренции, – создает оптимальные условия для полноценной, не фиктивной, коммуникации, при том на нескольких уровнях: 1. общения с самим Собой; 2. общения между гротесковыми элементами; 3. общения между Автором и „персонажами”, а также между Автором и его гротесковым творением; 4. общения между Читателем и „персонажами”, а также между Читателем и гротесковым творением; 5. общения между Автором и Читателем.

Силой и прочностью когерентных связей гротеск словно не только „восстанавливает”, смыслово и композиционно, изначальное единение индивидуума с Матерью как автоэротическая плотность, но и „изображает” его, т.е. на базе наглядности возбуждает самый важный человеческий орган чувств – зрение, которое приводит в движение все остальные органы чувств и „восстанавливает” первичное единство. 90% информации, почерпнутой из внешнего мира, человек воспринимает своими глазами. В этом мысленном порядке гротесковая когеренция имеет семиотический характер. В ее качестве трансформативной величины она возвращает обратно символ к семиотеке, а это означает спокойствие, душевное и соматическое равновесие для субъекта.

6.1. Гипостазы Формы⁹ как Анти-формальная трансформация в гротесковой зоне.

Сам Гомбрович в своем романе *Ferdydurke* выясняет неизбежность

⁹ О месте и роли Формы в писательском деле В. Гомбровича см. статью *Философия Формы в творчестве Витольда Гомбровича* [Хамзе 2011].

нашей Формальной зависимости: „В действительности, однако, вещи выглядят так: человеческое существо не выражается напрямую и в согласии со своей природой, а всегда в определенной форме, и эта форма, этот стиль, способ существования, не происходит только от нас, а навязан нам извне, умно или глупо, кроваво или ангельски, зрело или незрело, в зависимости от стиля, с которым мы столкнулись, и от того, насколько мы зависимы от остальных людей” [F, 73–74, 78].

В этой перспективе, как замечает М. Белецки, субъект не находит свое место в языке и ни один языковой элемент не становится для него абсолютно собственным. Отсюда следует, что ни одно описание не может полностью соответствовать („подходить”) описываемому, что оно срывает полную экспрессию воспринимаемого и лишает субъект возможности пережить самые сокровенные чувства [по Bielecki 2014: 97–98]. Гомбрович прекрасно знает это: как во *Ferdydurke*, так и в написанных между войнами эссе и рецензиях он делится следующим: „потому что Действительность всегда богаче наивных иллюзий и лживых фикций” [F, 73]; „Форма просачивается в нас отовсюду, давит на нас как изнутри, так и снаружи” (F, 45); „Потому что никакая форма, никакой стиль не выражает полную действительность” [PRK, 307]; „ни одна форма не равноценна моей действительности” [PRK, 271].

Поэтому гротеск не стремится описывать, он просто „рисует” (в литературе только языком), чтобы избежать эмоционально-экспрессивных и эстетических утрат.

6.2. Гротесковое пространство как трансформация

Гротеск представляет собой особую борьбу пространств (спациомахию) и исключительно интересную пространственную „метаморфозу”. С ее помощью индивидуум преодолевает страх и „свое семиотическое

отвращение” к угрозе внешнего. Гротесковская экстраполяция внутреннего мира, Семиотического, безболезненно сводит индивидуума с внешним, одаряет его силами дать ему отпор и в то же время не оставляет его на том же пространственном уровне, а возвышает на более высокую ступень – над опозитивной горизонталью „внутренне-внешнее”, трансформирующейся в вертикаль „внизу-наверх”. Так осуществляется трансцендирующая функция гротеска.

Мощное присутствие гротеска в мысленной парадигме и творчестве польского писателя „демонтирует” и нейтрализует оппозицию снаружи – внутри. Оба ее члена начинают обмениваться качествами, скрещиваться и незаметно меняться местами, даже ко-трансформироваться (переходить друг в друга), что усложняет онтологический статус пространства, релятивизирует какие бы то ни было границы и предостерегает от введения его в определенную формально-семантическую „капсулу”. Таким образом амбиваленции приобретают апоретический характер (от „апории” – термин Жака Дерриды).

Эта релятивизация (являющаяся очередным видом трансформации) пространства в гротесковой зоне наблюдается ярче всего в падежных отношениях, которые в принципе семантизируют пространство¹⁰.

Очевидно, что падежное управление глаголов в большой степени есть плод а-системности, „прорвавшей” систему и уже переставшей ощущаться как асистемность. Субъект ищет рациональное и логическое объяснение, чтобы „впихнуть” явление в систему и продолжить действовать далее автоматически. Гомбрович словно реанимирует и реабилитирует а-системность посредством гротеска и в падежных отношениях, показывает ее в обнаженном, дерзком виде, чтобы ее „узаконить”, „легитимировать” и посредством этой радикальной („анар-

хической”) операции – доказать, что она совершенно нормальна для языка и что на самом деле системность – исключительно гибкое, упругое, развивающееся и трансформативное понятие, что принимает и абсорбирует даже свой антипод, допуская его в свою „ауру” (мы снова в поле действующего оксиморона). Таким образом усиливает, заостряет, радикализирует уже существующее в языке или как „росток”, „робкая наличность”, или как надвигающееся дуновение, тенденция, предсказание...

„Бесшабашные” ассоциации Витольда излучают иронию стандартного мышления о „неприличии” как неприличии, и то согласно навязанному повсеместно человеческому стандарту. „Скандальное”, дейктированное (от дейксис) сдвоение в космическом плане, которое будто перманентно ко-трансформирует бытийности (живую и неживую природу – птицу и ночь) одну в другую, усиленное посредством „гротесково-трансгрессивного” употребления актива-социатива путем выравнивания компонентов (*noc i ptak*), инессива, указывающего местонахождение во внутренней части объекта и наряду с этим играющего роль трансформатива, сливая воедино два предмета посредством проникновения птицы в ночь (*ptak w nocy*), и результированного социатива, который трансфигурирует их опять как равные, но индивидуализированные в Целости (т.е. они одновременно и обособленные, и целостные) сущности (*ptak z nocą*).

*Rzeczywiście, nie słyhać było jego oddechu... a jeśli nie spał, to widział, że ja przez okno wyglądałem... co nie byłoby niczym zdrożnym, gdyby nie noc i ptak, ptak w nocy, ptak z nocą*¹¹. [K, 12] (Здесь и далее подчеркивания мои – Д. Х.)

Вцепившись в упругую Форму аристократичного превосходства и „право” классовой элиты не признавать простолоудинов людьми, герой выступает „против” детей – демонстративно и вызывающе навязывает

¹⁰ О пространстве как омнисеманте в падежной панораме, о пространственной соотношенности в падежных связях, о пространственной интерпретации, издающей таксономический характер падежности, о необходимости в падежной редистрибуции и о попытке предложить новую пространственно-семантическую классификацию падежей, см. исследования: Аспекты на падежности (вверху материал от польския язык) [Хамзе 2012а], Аспекты падежности (на материале польского языка) [Хамзе 2013а], Размисли върху падежните названия и представителните семантични роли на падежите в полски език [Хамзе 2013б].

¹¹ Правда, его дыхания не было слышно... а если он не спал, тогда видел, что я смотрел в окно... в чем не было ничего неприличного, если бы не ночь и птица, птица в ночи, птица с ночью [K, 12].

свою господскую маниакальность, но как любая Форма, даже и самая устойчивая, она не может избежать, разложения и бессилия перед Первичным очарованием ребенка с его изначальной Целостностью. Конфронтативное позиционирование – посредством еды! – выраженное контррессивом, выдает только „немошь” отживающего свой век шляхтича.

[...] *Konstanty zaś kazał przynieść jabłek i ostentacyjnie jadł rozrzucając lupiny. Jadł przeciwko dzieciom*¹² (F, 251).

6.3. Языковая „канонада” (оксиморон, неологизмы, солецизмы...) гротеска как обновительная трансформация и штурм против Формы.

Атрибутивное влечение остро поляризованных компонентов контрастной пары в рамках *оксиморона*¹³ иллюстрирует их преобразовательное (и ко-трансформативное) естество. Внутренняя (между составляющими оксиморона) и внешняя (та, которую оксиморон в целом передает окружению) трансформативность представляют мощный когерентный оператор, обладающий Формодеструктивной функцией. Принципы оксиморона как *ex libris* философско-эстетической сущности гротеска (релятивный, диалектический, комплементарный, скалярный, синхронизационный, медиативный, модально-эпистемический, гносеологический, реверсивный, креативный) утверждаются в непрерывном политрансформативном процессе элементов с их „ковалентностью”.

Сплошная *неологизация* в Гомбровичевом творчестве с пространственной метаморфичностью ее проявлений – как отдельная лексема, синтаксическая секвенция, текстуальный сегмент или даже целое произведение – „воюет” против Формы до тех пор, пока в коммуникативном обмене не

приведет к межличностному и межкультурному просветлению. Неологизмы¹⁴ возрождают исконный драматизм субъекта, но находят и его „решение” путем слияния с Первозданным посредством неоднозначности и неокончателности смысла. Неологизмы писателя – это не „фосфоресцирующие уникалы”, а игорно-псевдоэклетические сочетания популярного и знакомого языка, обладающие неподражаемым новаторским эффектом. Так Гомбрович не только показывает результат Формодеструкции (как трансформация), но словно прослеживает и включает реципиента в сам процесс Формораспада.

С помощью своих языковых находок¹⁵ (солецизмов – всевозможных языковых aberrаций и нарушений канона) писатель словно проникает глубоко в недра языковой материи с эстетической силой гротескового изображения (которое всасывает и преобразует ее), делает ее равноценной Первичному Единству, следовательно поддерживает наше существование и превращает слабость нашу в силу. Функционально-перформативная стихия гротескового языка писателя, „заставляющая” нас „переродиться” и пересотворить, обусловлена именно размещением „тектонических пластов” языка. Трансформируя в гротесковой зоне тиранический язык как инструмент для насилия, Гомбрович преследует Форму эвристикой своего идиолекта.

6.4. Стиль как гротесковая трансформация

Стиль¹⁶ – это возможно наиболее „мутное” понятие в лингвистике – оно „всеядно”, в него можно впахнуть чуть ли не все... Этот факт слишком обеспокаивающий, хотя на первый взгляд может показаться репрезентующим своей либеральной

открытостью и толерантностью ко „креативным” трансформациям, так как формализует стиль и словно лишает его содержания. Стилистическое „жонглирование” – лишь кажущаяся языковая привилегия, потому что недооценивает генетическую связь стиля с когнитивными процессами, связанными с концептуализацией и категоризацией явлений. Интуитивное языковое сознание, предопределяющее наш „стилевой” выбор, релятивизирует стилистическую норму, потому что не может быть обьято безысключительными правилами. В этом смысле трансформацию воспринимают не как „перевод”, „перенос”, „трансмиграцию” одного стиля в другой, а как трансмиссию определенного онтологично-познавательного опыта в семантико-стилевой конфигурации. Стиль рождается одновременно с семантикой (которая должна доказать свои коммуникативные основания), а не является ее „целлофаном”. Любой вербальный рефлекс автоматически материализуется как стиль. Коммуникация была бы невозможной, если бы мы планировали ее строго, выбирая четко определенные лексемы, каждая из которых обладает своим стилевым ярлыком в лексиконе соответствующего языка. В подобном ракурсе высказываются Анна и Петр Вежбицких – по их мнению, хорош любой стиль, выполнивший достойно свою функцию, т.е. цель и предназначение свои (А. Вежбицка, П. Вежбицки 1969: 24).

Тереса Скубаланка констатирует, что стилистика на самом деле – это одна из семантик языка, точнее – прагматическая семантика (Скубаланка 1984: 14). А. Вежбицка в своей монографии 1999 г. *Język – Umysł – Kultura* тоже относит стилистику к иллюкутивной семантике, какой по своей сути, по ее мнению, является прагматика. Автор

12 (...) Константи, однако, приказал, чтобы принесли яблоки, и стал есть их напоказ, разбрасывая очистки вокруг. Ел против детей [F, 251].

13 Об оксимороне и его роли в гротескогенезе см. исследования: Оксиморонът – гротесковата арматура в творчеството на В. Гомбрович [Хамзе 2013в] и *The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz)* [Hamze 2013 г]

14 Об экспрессии неологизмов как катализатор гротескогенеза см. *Экспрессивный потенциал неологизмов как катализатор гротескогенеза (на материале романа „Космос” В. Гомбровича)* [Хамзе 2014б] и *Экспрессивный потенциал на неологизмита като катализатор гротескогенезата (върху материал от романа „Космос” на В. Гомбрович)* [Хамзе 2015а]

15 О языковом новаторстве в доминированном гротеском творчестве В. Гомбровича см. исследования: *Эвристика на словото. Трансгресивните иновации на писателя (върху текстове на Витолд Гомбрович)* [Хамзе 2012б] и *Езиковата еквилибристика на Гомбрович – ефективна стратегия в борбата срещу нашествието на Формата* [Хамзе 2012в]

16 О стиле и основаниях стилистики как науки см. исследования: «За» и «против» стилистики [Хамзе 2014в], *Стилистиката на кръстопът* [Хамзе 2015б].

говорит о стилях межличностных отношений (легших в основу иллокутивных грамматик), которые отражают различные культуры и соответствующие им культурные семантики (Вежбицка 1999: 293). В общей гуманитарной панораме стилистика еще ближе к искусствам, воплощая взгляд В.В. Виноградова о взаимосвязи стиля и эстетики. Из сказанного до сих пор следует ожидать, что стиливое присутствие и роль стиля в гротеске как эстетической категории – первостепенна. Стилиевая интерференция в Гомбровичевом творчестве воспринимается как напоминание и частичная восстановление целебного изначального Хаоса, Первозданной Целостности, которая, с конвенциональной точки зрения, воспринимается как „поскрипывание”, „прорыв”, „аттентат” в нормативной зоне. В трансформативной „централь” Гомбровича стиль есть одновременно первоисточник и результат, первопричина и следствие, мировоззрение и материя (инструментарий), индуктивная и дедуктивная, эмпирическая и логическая категория. Функция стиля в гротесковом паноптикуме писателя доказывает, что он является специфической (и специализированной) индивидуальной трансформацией кода, а каждый личностный выбор делает гибкой и индивидуализирует общевалидную языковую норму.

Стилистический оксиморон, сочетающий высокий, литературный, церемониально-торжественный стиль с фамильярно-просторечным стилем, посредством моментной психо-ментальной „релаксации” и рефлекторного „прыжка”, инсценирует Первичное Всеединство и коммуникативный интегритет.

Matka

Pamiętam jak to dawniej mnie prowadził Ksiądz Dziekan podczas wielkanocnych świąt...

17 **Мать**

Помню, как раньше сопровождал меня Его Преподобие Викарий в Пасхальные праздники.

А там стол накрыт, гости хором ведут приятные разговоры – благопристойные и изысканные!

Отец

В прошлом, сударь, человек садился за стол, укрытый безукоризненно белой скатертью – и лишь тогда гороховый суп лопал, да так, аж за ушами трещало словно в колокол бил или на трубе играл!

(...)

Мать

Прости нас, Генриш, а и ты, Владиш, за скромный прием...

Чем богаты тем и рады. Это суп из лошадиных кишок и кошачьей мочи [Ś,109].

A tam stół zastawiony, goście chórem przyjemne wiodą rozmowy!

Ojciec

Dawnymi czasy, panie, człek do stołu zasiadał

Przy czysto białym obrusie – i dopiż

Zupe grochową wcinął, ale to wcinął Jakby we dzwony bił, albo na trąbie grał!

(...)

Matka

Wybacz, Henryś, a i ty, Władyś, skromność przyjęcia...

Radziemy sobie jak możemy. To zupa z koński kiszki i koci szczyny¹⁷ [Ś, 109].

7.1. Гротеск как трансформативный код

Умберто Эко припоминает, что Соссюр вскользь говорит о „коде языка”, но несомненно Якобсон – тот, кто экстраполирует понятие „код” из теории информации и наряду с другими подобными терминами применяет его в лингвистике и в семиотике [Эко 1993: 189].

Код есть трансформация *par excellence* – он не является гарантией общения, а механизмом для осуществления превращения одной системы в другую. Как говорит У. Эко: „Какая разница, системы общения ли это, или какие-то другие системы. Главное, что это системы, общающиеся *между собой*” [Эко 1993: 187]. И продолжает: „Итак, еще при своем рождении идея кода окутана известной двусмысленностью: взаимосвязанная с одной общекоммуникативной гипотезой, она не является гарантией коммуникативности, а скорее всего – гарантией структурной упорядоченности и взаимной доступности между различными системами. Это двусмысленность, уходящая корнями в двойственное значение слова „коммуникация”: коммуникация, как *перенос* информации

между двумя полюсами, и вместе с тем, как *доступность* или *переход* информации между двумя пространствами. Два понятия взаимно „имплицитуют” друг друга [Эко 1993: 187].

Сама когеренция выражает кодированность гротеска. Гротеск можно рассматривать как „изобразительный” код для превращения одной системы в другую. Превращает языковую систему в гротесковую языково-эстетическую систему, а она, со своей стороны, снова вливается (или перепорачивается) в „исходную” языковую систему. Эта битрансформативность обеспечивает взаимную доступность двух систем.

Произведенное исследование ведет к следующим результатам:

1. Учение Соссюра об языке как системе можно рассматривать как отправной пункт для прослеживания самых разнообразных внутренних трансформаций и ко-трансформаций, которые релятивизируют строгую, исходную системность и, дополняя ее некоторой а-системностью, увеличивают ее коммуникативные возможности и оплодотворяют межличностную интерференцию. Это показывает, что учение швейцарского лингвиста не является чисто лингвистическим учением. Оно опирается по существу на одну философскую концепцию.

2. В семиотическом ареале В. Гомбрович обнаруживает и выделяет трансформативную функцию гротескового языка, который возвращает язык к его праисточнику, припоминает ему его предысторию, чтобы обновить его, сделать более гуманным, более социативным и консолидирующим в его коммуникабельности. С помощью этого языка гротеск трансформирует и реабилитирует истинную коммуникацию.

3. Посредством символики Семиотического гротеска как эхография чело-

веческой психики воскрешает первичное, изначальное Всеединство и после этого вторично его символизирует.

4. Посредством всех своих операторов (оксиморона, перформативности, пространственно-падежных конфигураций, языковых „пертурбаций” (солецизмов), стилистических „акробатик”, гротеск показывает весь свой трансформативный потенциал как прорыв в системе, без которой мы все-таки не можем существовать, потому что формально обременены. Находясь в системе, мы эрозируем ее и „преодолеваем” ее непрерывно, чтобы поддерживать психический баланс.

5. В походе к преодолению культуры как уни-Форменности и стагнации, чей страж – официальный язык, гротеск как компенсаторный механизм является несомненным победителем.

6. Радикальная трансформативность, происходящая из когерентной природы и структуры гротеска, ведет к пере-оценке не только стандартов языка, но и стандартов коммуникации как выражения межлических отношений. Она вызывает ревизию самого аксиологического процесса. Трансформативная когеренция гротеска дает преимущество эмоции и экспрессии, играющим первостепенную роль в межличесном общении. Именно когеренция как трансформация добивается ко-референтной внутренней взаимосвязанности элементов в зоне гротеска и делает из нее концепцию о мире и ценностную систему. Сила когерентных связей активизирует катартичную, трансцендирующую и магическую функции гротеска, являющиеся решающими для коммуникативной „когезии” между субъектами.

7. Гротеск трансформирует и реабилитирует полноценную коммуникацию. Гротесковый дискурс – это благотворная трансформация общественного дискурса. Когерентная трансформативность в рамках гротескового изображения порождает новый тип дискурса, ведущий к новому типу общения и новым межлическим отношениям посредством:

а) сублимации частей, которые словно приобретают „целостность” и возвращают к Первичному Единению.

б) эгалитаризирования бытийностей как эталон межличесного сплочения.

в) поэтизации дискурса, опозитивирования коммуникативного обмена.

г) эстетической (и магической) функции гротескового изображения, которая тоже сплавливает коммуникантов и укрепляет межличесные отношения; перешагивает через границы, как само искусство, для которого не существует территориальных и языковых барьеров.

8. Трансформативно-перформативная сила гротеска выражается не в удалении абъекта или его нейтрализации, а в его эстетическом конфигурировании. Благодаря ему осуществляется возвращение к Семиотическому и экстериоризация трагедии индивидуума, которая „сублимирует” с помощью эстетики.

9. Стилиевая креолизация в гротесковом творчестве Гомбровича тоже ассоциируется с витальностью первичного Хаоса. Она несет индивидуальный артистический почерк автора, который сознательно „наносит урон престижу” языковой нормы, раскрывая другие, неподозреваемые возможности для увеличения ее гибкости, а также для успешной социализации индивидуумов.

10. Гротеск или гротесковый язык – посредством когеренции – индивидуализирует, чтобы объединить, реанимирует, чтобы воссоздать, и в конечном итоге ре-социализирует.


11. Лингвотрансформативная функция гротеска как решающего фактора в коммуникативном обмене и в борьбе против Формы со всеми ее „метагазами” в состоянии привести к межличесному и межцивилизационному просветлению и взаимопониманию.

12. Можем даже говорить о гротесковой „методологии”, служащей и образцом, и источником, и стимулом для трансформации.

13. Гротеск можно рассматривать как „изобразительный” код для превращения одной системы в другую, что не только обеспечивает им взаимный доступ, но стимулирует и коммуникативные процессы между ними.

Reference:

1. Bakhtin 1978: Bakhtin, M. *Tvorchestvoto na Fransoa Rable i narodnata kultura na srednovkoviyeto i*

renesansa [Creativity of Franco Rabelais and the national culture in the Middle Ages and Renaissance]. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1978.  <https://doi.org/10.1093/camqtly/xxiii.2.166>

2. Beletski 2014: Bielecki, M. *Widma nowoczesności. Ferdurke Witolda Gombrowicza*. – Warszawa., IBL, 2014.

3. Boyadzhiev 1992: Boyadzhiev, ZH. *Ferdinand d’o Sosyur i s»vremennata lingvistika [Ferdinand de Saussure and the contemporary linguistics]*. V: Sosyur, F. *Kurs po obshcha lingvistika [Course in General Linguistics]*. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1992, pp. 7-28.

4. Vezhbitska, Vezhbitski 1968: Wierzbicka, A., P. *Wierzbicki, Praktyczna stylistyka [Practical styling]*. – Warszawa., Wiedza Powrzechna, 1968.

5. Vezhbitska 1999: Wierzbicka, A. *Język – Umysł – Kultura [Culture]*. – Warszawa., PWN, 1999.

6. Glovinski 2000: Głowiński, M. *Intertekstualność, groteska, parodia (Szkie ogólne i interpretacje) [Intertextuality, grotesque, parody (General Sketches and Interpretations)]*. – Kraków., Universitas, 2000.

7. Yeko 1988: Yeko, U. *Semiotika i filosofiya na yezika [Semiotics and philosophy of language]*. – Sofiya., Nauka i izkustvo [Science and Art], 1988.

8. Zalevskaya 2012: Zalevskaya A.A. *Znachenije slova i metafora „zhivoyopolikodovyy gipertekst” [The word meaning and the «living hypertext» metaphor]*. In: *Ways of solving crisis phenomena in Pedagogics, Psychology and Linguistics: Materials digest of the XXXI International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in pedagogical and psychological sciences, the II stage of the Championship in philological sciences*. – London., IASHE, 2012, pp. 189–191; Access mode: <http://gisap.eu/ru/node/12631>.

9. Skubalanka 1984: Skubalanka, T. *Historyczna stylistyka języka polskiego [Historical stylistics of the Polish language]*. – Wrocław., Wydawnictwo im. Ossolińskich, 1984.

10. Khamze 2011: Khamze, D. *Filosofiya na Formata v tvorchestvoto na Vitold Gombrovich*. V: *Dumi sreshchu*

dogmi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetata natsionalna konferentsiya za studenti, doktorati i srednoshkoltsi. [Philosophy of the Form in works of Witold Gombrowicz: Words against dogmas. Collection of reports of the 20th national conference for University and secondary schools students, and doctors of sciences] – Plovdiv., Kontekst, 2011, pp. 196–206.

11. Khamze 2012a: Khamze, D. Aspekti na padezhnostta (v»rkhu material ot polskiya yezik) [Aspects of cases (on materials of the Polish language)]. V: Nauchni trudove na PU „P. Khilendarski”, Vol. 50, book.1, SB.V.–Plovdiv., Publishing of PU „P. Khilendarski”, 2012, pp. 412–428.

12. Khamze 2012b: Khamze, D. Yevristika na slovoto. Transgresivniteinovatsii na pisatelya (v»rkhu tekstove na Witold Gombrovich). V: Godishnik Nauka – Obrazovaniye – izkustvo [Heuristics of speech. Transgressive innovations of the writer (texts by Witold Gombrowicz): Annual edition: Science-Education-Art]., Vol. 6, Part 2. – Blagoyevgrad., S»yuz na uchenite – Blagoyevgrad, 2012, pp. 173–180.

13. Khamze 2012v: Khamze, D. Yezikovata yekvilibratika na Gombrovich – yefektivna strategiya v borbata sreshchu nashestviyeto na Formata. V: Slavistikata v globalniya svyat – predizvikelstva i perspektivi [Language equilibratic of Gombrowicz - effective strategy to combat the invasion into the Form: Slavic studies in a globalized world - challenges and prospects]. – Blagoyevgrad., University Publ. „Neofit Rilski”, 2012, pp. 205–214.

14. Khamze 2013a: Khamze, D. Aspekty padezhnosti (na materiale pol'skogo yazyka) [Aspects of cases (on materials of the Polish language)]., In: LXX International Scientific and Practical Conference «Language means of preservation and development of cultural values», III stage of the championship in philology (November 10 – November 15, 2013). – London., Published by IASHE, 2013, pp. 48–57. Access mode: <http://gisap.eu/ru/node/34522>

15. Khamze 2013b: Khamze, D. Razmisli v»rkhu padezhnite nazvaniya i predstavitelnite semantichni roli na padezhite v polski yezik. V: Nauchna sesiya: „Mezhdunarodna konferentsiya na mladite ucheni 13–15 yuni”

Seriya V. Tekhnika i tekhnologiya [Reflections on maturity names and relevant semantic maturity roles in Polish.: Scientific session: «International Conference of Young Scientists, June 13-15» Series V: Engineering and Technology]., Vol. XVI. – Plovdiv., S»yuz na uchenite v B»lgariya [Union of Scientists in Bulgaria], 2013, pp. 318–324.

16. Khamze 2013v: Khamze, D. Oksimoron»t – groteskovata armatura v tvorchestvoto na V. Gombrovich. V: Aktualni problemi na b»lgaristikata i slavistikata. Vtora mezhdunarodna konferentsiya [Oxymoron as a grotesque fixture in the work of W. Gombrowicz. V: Current Problems of Bulgarian and Slavic studies. Second International Conference]., November 9–10, 2012. – Veliko T»rnovo., VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy”, 2013, pp. 414–423.

17. Khamze 2013g: Hamze, D. The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz). In: Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House “Science and Innovation Center”. – St. Louis, Missouri, USA, 2013, pp. 383–390.

18. Khamze 2014a: Hamze, D. „Zapada zmierzch...” – kognitywno-konotatywne implikacje pojęcia w twórczości W. Gombrowicza””. W: Zmierzch w literaturze i kulturze [«Twilight falls ...» - cognitive-connotative implications of the concept in W. Gombrowicz's work.]. In: Twilight in literature and culture], red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska. – Bielsko-Biała., Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, pp. 179–196.

19. Khamze 2014b: Khamze D. Ekspresivnyy potentsial neologizmov kak katalizator groteskogenezata (na materiale romana „Kosmos” V. Gombrovicha) [Expressive potential of neologisms as a catalyst for the genesis of grotesque (based on the novel «Cosmos» by W. Gombrowicz)]., In: Problems of combination of individualization and Unification in language systems within modern communicative trends. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XC International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, October 09 – October 14,

2014). – London., Published by IASHE, pp. 28–34. Access mode: <http://gisap.eu/ru/node/55743>.

20. Khamze 2014v: Khamze, D. «Za» i «protiv» stilistiki. V: TEKST, KONTEKST, INTERTEKST. Sbornik nauchnykh statey. Vinogradovskiyechteniya [«Pros» and «cons» in stylistics. V: TEXT, CONTEXT, INTERTEXT. Collection of scientific papers. Vinogradov readings]. Vol. 2. – Moskva., VividArt, 2014, pp. 15–24.

21. Khamze 2015a: Hamze D., Yekspresivniyat potentsial na neologizmite kato katalizator groteskogenezata (v»rkhu material ot romana „Kosmos” na V. Gombrovich) [Expressive potential of neologisms as the catalyst of genesis of grotesque (on materials of the novel «Space» by W. Gombrowicz)]., W: „Poznańskie studia slawistyczne” [In: «Poznan Slavic Studies»], No. 8. – Poznań., UAM, 2015, pp. 349–366.

22. Khamze 2015b: Khamze, D. Stilistikata na kr»stop»t. V: Slavistikata – p»tishcha i perspektivi [Stylistics at a junction. V: Slavic studies - roads and perspectives]., Yubileyen sbornik, posveten na prof. dfn. Ivanka Gugulanova [Anniversary collection, dedicated to Prof. Ph.D. Ivank Gugulanov]. – Plovdiv., Universitetsko izdatelstvo, 2015

Эксерпированная литература:

1. Гомбрович 1956: Gombrowicz, W. Ferdurdurke. – Warszawa., Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956; сокp. F.

2. Гомбрович 1986: Gombrowicz, W. Ślub, Dzieła, tom IV. Dramaty. – Kraków., Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 89–224; сокp. Ś.

3. Гомбрович 1986: Gombrowicz, W. Operetka, Dzieła, tom IV. Dramaty. – Kraków., Wydawnictwo Literackie, 1986, s. 225 – 322; сокp. O.

4. Гомбрович 1986: Gombrowicz, W. Trans-Atlantyk, Dzieła, tom III. – Kraków., Wydawnictwo Literackie, 1986; сокp. TA.

5. Гомбрович 1997: Gombrowicz, W. Publicystyka. Wywiady. Teksty różne 1963– 1969, przeł. I. Kania, B. Baran, K. Bielas, F. M. Cataluccio, R. Kalicki, Z. Kruszyński, K. Lesman. – Kraków.,

Wydawnictwo Literackie, 1996, сокр. PWT II.

6. Гомбрович 2000: Gombrowicz, W. Kosmos. – Kraków., Wydawnictwo Literackie, 2000; сокр. К.

Литература:

1. Бахтин 1978: Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на средновековието и ренесанса. – София., Наука и изкуство, 1978. <https://doi.org/10.1093/camqtly/xxiii.2.166>

2. Белецки 2014: Bielecki, M. Widma nowoczesności. Ferdynand Witolda Gombrowicza. – Warszawa., IBL, 2014.

3. Бояджиев 1992: Бояджиев, Ж. Фердинанд дьо Сосюр и съвременната лингвистика. В: Сосюр, Ф. Курс по обща лингвистика. – София., Наука и изкуство, 1992, с. 7–28.

4. Вежбицка, Вежбицки 1968: Wierzbicka, A., P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka. – Warszawa., Wiedza Powrzechna, 1968.

5. Вежбицка 1999: Wierzbicka, A. Język – Umysł – Kultura. – Warszawa., PWN, 1999.

6. Гловински 2000: Głowiński, M. Intertekstualność, groteska, parodia (Szkice ogólne i interpretacje. – Kraków., Universitas, 2000.

7. Еко 1988: Еко, У. Семиотика и философия на езика. – София., Наука и изкуство, 1988.

8. Залевская 2012: Залевская, А.А. Значение слова и метафора „живой-поликодовый гипертекст”, In: Ways of solving crisis phenomena in Pedagogics, Psychology and Linguistics: Materials digest of the XXXI International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in pedagogical and psychological sciences, the II stage of the Championship in philological sciences. – London., IASHE, 2012, Pp. 189–191; эл. ресурс: <http://gisap.eu/ru/node/12631>.

9. Скубаланка 1984: Skubalanka, T. Historyczna stylistyka języka polskiego. – Wrocław., Wydawnictwo im. Ossolińskich, 1984.

10. Хамзе 2011: Хамзе, Д. Философия на Формата в творчеството на Витолд Гомбрович. В: Думи срещу догми. Сборник с доклади от Два-

надесетата национална конференция за студенти, докторати и средношколци. – Пловдив., Контекст, 2011, с. 196–206.

11. Хамзе 2012а: Хамзе, Д. Аспекти на падежността (върху материал от полския език). В: Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски”, том 50, кн. 1, СБ. В. – Пловдив., Издателство на ПУ „П. Хилендарски”, 2012, с. 412–428.

12. Хамзе 2012б: Хамзе, Д. Евристика на словото. Трансгресивните иновации на писателя (върху текстове на Витолд Гомбрович). В: Годишник Наука – Образование – изкуство. Том 6, част 2. – Благоевград., Съюз на учените – Благоевград, 2012, с. 173–180.

13. Хамзе 2012в: Хамзе, Д. Езиквата еквилибристика на Гомбрович – ефективна стратегия в борбата срещу нашествието на Формата. В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. – Благоевград., Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2012, с. 205–214.

14. Хамзе 2013а: Хамзе, Д. Аспекти падежности (на материал полския езика) В: LXX International Scientific and Practical Conference «Language means of preservation and development of cultural values» / III stage of the championship in philology (November 10 – November 15, 2013). – London., Published by IASHE, 2013, с. 48–57. эл. ресурс: <http://gisap.eu/ru/node/34522>

15. Хамзе 2013б: Хамзе, Д. Размисли върху падежните названия и представителните семантични роли на падежите в полски език. В: Научна сесия: „Международна конференция на младите учени 13–15 юни” Серия В. Техника и технология, том XVI. – Пловдив., Съюз на учените в България, 2013, с. 318–324.

16. Хамзе 2013в: Хамзе, Д. Оксиморонът – гротесковата арматура в творчеството на В. Гомбрович. В: Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора международна конференция, 9 – 10 ноември 2012 г. – Велико Търново., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 414–423.

17. Хамзе 2013г: Hamze, D. The Grotesque Fixture Named Oxymoron

(on works by W. Gombrowicz). In: Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House “Science and Innovation Center”. – St. Louis, Missouri, USA, 2013, p. 383–390.

18. Хамзе 2014а: Hamze, D. „Zapada zmierzch...” – kognitywno-konotatywne implikacje pojęcia w twórczości W. Gombrowicza”. W: Zmierzch w literaturze i kulturze, red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska. – Bielsko-Biala., Wydawnictwo Naukowe ATH, 2014, p. 179–196.

19. Хамзе 2014б: Хамзе Д. Экспресивный потенциал неологизмов как катализатор гротескогенеза (на материал романа „Космос” В. Гомбровича). – In: Problems of combination of individualization and Unification in language systems within modern communicative trends. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XC International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, October 09 – October 14, 2014). – London., Published by IASHE, с. 28–34. эл. ресурс: <http://gisap.eu/ru/node/55743>.

20. Хамзе 2014в: Хамзе, Д. «За» и «против» стилистики. В: ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ. Сборник научных статей. Виноградовские чтения. Том 2. – Москва., VividArt, 2014, с. 15–24.

21. Хамзе 2015а: Hamze D., Экспресивният потенциал на неологизмите като катализатор гротескогенезата (върху материал от романа „Космос” на В. Гомбрович). W: „Poznańskie studia slawistyczne”, Nom. 8. – Poznań., UAM, 2015, s. 349–366.

22. Хамзе 2015б: Хамзе, Д. Стилистиката на кръстопът. В: Славистиката – пътища и перспективи. Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн. Иванка Гугуланова. – Пловдив., Университетско издателство, 2015, с. 267–281.

Information about author:

1. Dmitrina Hamze – Assistant, Plovdiv University «Paisii Hilendarski»; address: Bulgaria, Sofia city; e-mail: didiham@abv.bg